

© 2022. Н. Л. Ермолаева
независимый исследователь
г. Иваново, Россия

Л. Н. Толстой и А. Т. Твардовский. На пути к эпосу

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-012-00102*

Аннотация: В статье раскрывается близость миропонимания, ценностных ориентаций, путей формирования эпического мышления Л. Н. Толстого и А. Т. Твардовского на материале «предэпосных» очерковых произведений — Севастопольские рассказы и «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)». В них авторы заявляют себя в качестве летописцев совершающихся исторических событий, разными художественными способами отражая их трагизм. Толстой и Твардовский уже в очерковом жанре находят способы воплощения эпического образа воинского братского единения людей. В многогеройных очерковых произведениях писатели используют способы психологического анализа, характерные для будущего эпоса — «диалектика души» у Толстого и «фольклорный» психологизм у Твардовского. Эпическое мышление писателей предполагает и обращение к традиционным для народной культуры, опоэтизированным в ней, мифологизированным образам, которые они освещают по-разному. Автор статьи убежден, что формирование эпического мышления Толстого и Твардовского, «правда непосредственного живого свидетельства» в «Войне и мире» и в «Книге про бойца» стали возможны в результате сближения писателей с народом, обретения народного взгляда на мир и войну: для одного — в Севастополе, для другого — в снегах Финляндии.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, А. Т. Твардовский, правда, живое свидетельство, трагедия войны, солдатское братство, психологизм, мифологизированные образы, эпическое мышление.

Информация об авторе: Нина Леонидовна Ермолаева, доктор филологических наук, доцент, независимый исследователь, Иваново, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6759-3590>

E-mail: ninaermolaeva1@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 14.05.2022

Дата одобрения статьи рецензентами: 09.06.2022

Дата публикации статьи: 25.09.2022

Для цитирования: Ермолаева Н. Л. Л. Н. Толстой и А. Т. Твардовский. На пути к эпосу // Два века русской классики. 2022. Т. 4, № 3. С. 96–119. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-3-96-119>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 4, no. 3, 2022, pp. 96–119. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 4, no. 3, 2022, pp. 96–119. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2022. **Nina L. Ermolaeva**
Independent Researcher,
Ivanovo, Russia

L. N. Tolstoy and A. T. Tvardovsky. On the Way to Epic

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project no. 20-012-00102.

Abstract: The article reveals the affinity of the world outlook, values and the ways of formation of the epic thinking of L. N. Tolstoy and A. T. Tvardovsky in their pre-epic sketches “Sevastopol Sketches” and “From Karelian Isthmus (The Front-line Notebook).” These works present their authors as the chroniclers of the on-going historical events, depicting their tragic character by different means of artistic expression. Both Tolstoy and Tvardovsky find the ways of depicting the epic image of the war fraternal community in the genre of a sketch. In their poly-character sketches, the writers use the ways of psychological analysis typical to their future epic: “dialectics of soul” of Tolstoy and the “folk” psychological characteristics of Tvardovsky. The epic thinking of the writers means the use of the poetic images, traditional to the folk culture as well as the mythological images that they treat in different way. The author of the article is assured that the formation of the epic thinking of Tolstoy and Tvardovsky, “truth of the explicit live witness” in “War and Peace” and “A Book about a Soldier” became possible due to the closeness of the writers with the folk masses as well as acquiring the folk view on the war and peace: in Sevastopol for the former and in the snows of Finland for the latter.

Keywords: L. N. Tolstoy, A. T. Tvardovsky, true, living testimony, tragedy of war, brotherhood of soldiers, psychologism, mythologized images, epic thinking.

Information about the author: Nina L. Ermolaeva, DSc in Philology, Associate Professor, Independent Researcher, Ivanovo, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6759-3590>

E-mail: ninaermolaeva1@yandex.ru

Received: May 14, 2022

Approved after reviewing: June 09, 2022

Published: September 25, 2022

For citation: Ermolaeva, N. L. “L. N. Tolstoy and A. T. Tvardovsky. On the Way to Epic.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 4, no. 3, 2022, pp. 96–119. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-3-96-119>

Писатели и ученые не раз определяли те временные рамки, в которые можно уложить понятие «русская классическая литература»: «золотой» век, «золотой» плюс «серебряный»... Однако из двадцать первого века все яснее видно, что временной критерий тут не главное. Важнее ценностные ориентации писателя, то, насколько глубоко, верно и художественно совершенно выразил он «матрицу русского менталитета». Имена Л. Н. Толстого и А. Т. Твардовского «странно сближены» во времени: год смерти первого стал и годом рождения второго. Это имена во многом сопоставимых по величию художников, создателей национального эпоса «Война и мир» и «Василий Тёркин».

Впервые Твардовский был поставлен рядом с Толстым в критических заметках по поводу первых глав «Василия Тёркина» в октябре 1942 г. В. В. Ермилов в газете «Литература и искусство» сравнил поэму Твардовского с «Войной и миром», а Василия Теркина — с Тихоном Щербатым и сделал вывод об общих корнях того и другого персонажа, уходящих далеко в народные представления, «в народное мышление о солдате, о русском человеке на войне». Такое сходство произведений Твардовского и Толстого автор оценил как «новое и по-хорошему традиционное» [Ермилов: 2].

Очень скоро, однако, вопрос о традиционности поэмы стал звучать совершенно иначе. Н. Н. Асеев в статье «О чувстве нового» в той же газете «Литература и искусство» в апреле 1943 г., сознательно стремясь дискредитировать Твардовского в глазах читателя, заметил, что «Василий Тёркин» — это произведение, которое могло бы относиться ко всякой другой войне: «нет здесь особенностей нашей войны». Героя поэмы Асеев сближает с Платоном Каратаевым, он утверждает, что в поэме есть «никому не нужное» «навечное обыгрывание войны», ставит под сомнение новаторство Твардовского [Асеев: 2]. Следует отметить, что газета в том же номере опубликовала выступления В. М. Инбер и других писателей, опровергавших позицию Асеева, но вопрос о связях

«Василия Тёркина» с «Войной и миром» и творчества Твардовского с творчеством Толстого на многие годы оказался закрытым.

После смерти Твардовского в работах о нем имя Толстого стало появляться чаще. О том, что привлекало Твардовского в Толстом, почему толстовские дневники стали одной из последних книг, которую держал в руках Твардовский [Кондратович 1978: 331], размышляет А. И. Кондратович в воспоминаниях о поэте и в книге «Александр Твардовский. Поэзия и личность». В другой своей работе «Ровесник любому поколению» Кондратович пытается, хотя и фрагментарно, сблизить эстетическую позицию Твардовского и Толстого. На возможность сопоставления «Василия Тёркина» и Севастопольских рассказов указывает в своих воспоминаниях о поэте Г. Я. Бакланов [Бакланов: 425]. А. В. Македонов пишет: «Из прозаиков, сколько я знаю, любимым и главным был Лев Толстой», влияние Толстого «было очень глубоким и кардинальным и в общих принципах типизации героев Твардовского, психологического анализа, “диалектики души”, и в его лирике» [Македонов: 343]. А. И. Павловский в книге «Советская философская поэзия» утверждает, что «в прозе А. Твардовскому близок Л. Толстой» [Павловский: 154].

В 1990-е гг. тема «Толстой и Твардовский» практически не привлекала внимание исследователей. Несколько работ, посвященных ей, появились в связи со столетним юбилеем поэта и в последнее десятилетие. Наиболее значительные среди них — статьи на темы жизни и смерти в творчестве Толстого и Твардовского С.Р. Тумановой и А.Г. Лысова [Туманова: 127–137; Лысов: 13–19], исследования В. В. Ильина, внимательно прочитавшего «Рабочие тетради» Твардовского, опубликованные в «Знамени» [Ильин: 37–45]. Задача данной статьи — обращение к вопросу об истоках эпического мышления художников.

О том, что опыт Толстого для Твардовского — явление глубоко самобытное, индивидуальное, не оторвавшееся от первоисточника, нам уже приходилось писать [Ермолаева: 4–10]. Интерес Твардовского к Толстому определялся, несомненно, родственностью миропонимания, эстетических воззрений, ценностных ориентаций. Оба писателя проявили необыкновенную заинтересованность в сочинениях рядовых участников значительных исторических событий, считали, что сказать об истории *свою*, ни на чью не похожую правду имеет право любой человек. Без живого непосредственного свидетельства история

была бы неполной. Толстой был причастен к идее создания журнала для солдат «Солдатский вестник» и во время Севастопольской кампании присылал в «Современник» рукописи свидетелей сражений. По поводу очерка А. Д. Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе» он писал Н. А. Некрасову 30 апреля 1855 года: «Несмотря на дикую орфографию этой рукописи... вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало, или вовсе не печатается у нас и к несчастью» [Толстой 18: 387]. Наиболее полно отношение Толстого к творчеству авторов-непрофессионалов высказалось в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских детей». Толстой был убежден, что «чувство правды, красоты и добра независимо от степени развития» [Толстой 15: 30], он говорил о том счастливом волнении, которое испытывал при чтении детских сочинений, о глубоком впечатлении, оставляемом подробностями, о прелести и задушевности сцен повести «Солдаткино житъе» [Толстой 15: 29].

Вспоминая Твардовского, А. И. Кондратович писал о том, с каким восхищением читал поэт статью В. Б. Александрова «Фронтовые рукописи», как его приводила в восторг написанная свидетелем событий Первой мировой войны, присланная в «Новый мир», рукопись «Биография и приключения Бартова Александра Степановича, родившегося в 1884 году, 12 августа в бывшей деревне Бартово в семье у деда с отцом, середняка». Или рукопись фронтовика И. Ф. Колодникова «И. Колодников. Описание за год Отечественной войны моей борьбы с фашистами и оккупантами с июля 1941 года». Прочитав это название, Твардовский «залился смехом», а потом воскликнул: «Моей борьбы... Какая прелесть!..» [Кондратович 1973: 145]

Твардовский и Толстой судят о явлениях в эстетическом отношении очень близких — это творчество самого народа, особого рода фольклор. За словом и образом этих творений Толстой и Твардовский видят душу творца, обоих привлекает правдивое точное слово, выражающее всю глубину знания жизни, душевного переживания.

В таком отношении к творчеству простых людей выразилась общность обоих художников к национальным корням русской жизни и культуры. В этой любви — истоки эпического сознания писателей, глубоко переживавших личную сопричастность происходящему и чувство ответственности «за всё на свете». Из такого понимания выросло совпадение исторической концепции Толстого и Твардовского. Поэт разделял

толстовское убеждение: на войне герой *каждый*, кто честно исполняет свой долг, рискуя собственной жизнью. Еще в «Василии Тёркине» он выскажет мысль, которая многим его современникам будет понятна и доступна только тогда, когда станет официально признана: «И в одной бессмертной книге будут все навек равны...» [Твардовский 1976–1983. 2: 253]

Особенно ясно ощущал Твардовский свое родство с Толстым в понимании художественной правды, о чем не раз говорил и писал. Сразу после войны в выступлении на X пленуме Правления Союза писателей СССР 19 мая 1945 г. он приводил широко распространенное в офицерской среде убеждение: Лев Толстой был непосредственным участником войны 1812 г. По этому поводу поэт замечал: «В этом наивном и упорном утверждении замечательно то, что оно выявляет наивысшее доверие художнику, который говорит правду: она — правда — выглядит как обязательно личное и живое свидетельство.

Я думаю, к этому нужно стремиться. Было так или не было, воевал ты или нет, может быть, в это время частушки сочинял, а надо, чтобы в том, как ты напишешь, читатель видел правду, доверяясь твоему живому обязательному свидетельству» [Твардовский 1973: 251]. Утверждая так, Твардовский имел в виду собственный опыт: работая в годы войны над «Книгой про бойца», он осознал необходимость в поэме правды непосредственного живого свидетельства, какую чувствовали читатели в «Войне и мире». О такой правде в поэме писали ему многие читатели. Например, сержант П. Пономаренко: «Читая “Василия Теркина”... <...> До самых мельчайших подробностей, буквально во всех мелочах я видел только правду, жизнь» [Твардовский 1976: 22]. Или красноармеец И. А. Байдужий: «От читателя услышишь: “Неужели и я Теркин? Ведь здесь описано все обо мне”» [Твардовский 1976: 263]. В выступлении на Пленуме Правления Союза писателей СССР 19 мая 1945 г. поэт говорил: «Ценность любого свидетельства в том, что оно полностью принадлежит своему времени, а не подтянуто к другим годам, к другому умонастроению». Он убежден только при наличии живого свидетельства литература, искусство способны выполнить главную свою функцию: «средствами художественного выражения подтверждать и закреплять в сознании людей всё то новое, что входит в нашу действительность» [Твардовский 1973: 251].

До конца жизни поэт останется верен требованию правды в литературе. В речи на XXII съезде КПСС он снова обратится к Толстому

и воспользуется цитатой из его произведения: «Молодой Лев Толстой заканчивает один из своих “Севастопольских рассказов” словами: “Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда”» [Твардовский 1976–1983. 5: 354].

Севастопольские рассказы не случайно оказались в поле зрения Твардовского. Общеизвестно, что опыт Севастополя привел Толстого к «Войне и миру», в его очерковых произведениях формировался эпический взгляд на действительность. Путь приобщения Твардовского к миру жизни русского солдата, армии, воюющего народа, формирование эпического сознания отразили дневниковые записи 1939–1941 гг. «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)». Публикуя их в 1969 г., Твардовский заботился не о собственной славе. Да и что они могли добавить тогда к его имени великого поэта и редактора! Он думал о своей обязанности обнаружить, закрепить в памяти читателя, в памяти нации имена и боевые эпизоды, «которые так и не были в свое время перенесены из записной книжки на печатную страницу»: «Но и “на той войне не знаменитой”, при всей несоизмеримости ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлежать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой» [Твардовский 1976–1983. 4: 152].

Твардовский оказался участником так называемого освободительного похода нашей армии в Финляндию в ноябре 1939 – марте 1940 гг. Известно, что поход этот не был подготовлен: техническое обеспечение армии устарело, о быте солдат в условиях жестокой зимы руководство не позаботилось, силы противника были недооценены, теоретическая и моральная подготовленность командного состава значительно отставала от требований приближающейся новой, великой войны. После почти бескровных походов в Западную Украину и Западную Белоруссию в обществе, в армии и сознании поэта жила иллюзия возможного столь же победоносного шествия и в Финляндию. В финской тетради он признается; «Между прочим, серьезность войны еще не осознавалась мною» [Твардовский 1976–1983. 4: 166]. И в этом смысле Твардов-

ский в чем-то походил на Толстого, устремившегося в Севастополь с желанием славы, о чем пишет Ю. В. Лебедев [Лебедев 1976: 4–82]. Толстому в Севастополе, а Твардовскому в снегах Финляндии предстояло пережить крушение иллюзий.

Документальные, очерковые жанры, к каким и принадлежит «тетрадь» Твардовского, в годы войны стали необходимы как воздух для общества и литературы. Это хорошо понимал поэт. «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)» требовалась именно в этом качестве. По своим жанровым признакам записи поэта близки циклу очерков, тому жанровому образованию, которое в творчестве классиков — Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина — предшествовало эпосу. Ю. В. Лебедев назвал его «промежуточным», «предэпосным» [Лебедев 1975: 10]. По мнению ученого, очерковый цикл в нашей литературе — «это первое приближение к эпическим основам жизни... <...> Русский эпос рождался в результате приобщения автора к общенациональному сознанию, стремления выйти за пределы индивидуального микрокосма к макрокосмосу, к миру народной жизни» [Лебедев 1977: 4]. Военные и Севастопольские рассказы Толстого [Масолова: 135]¹, как и «Фронтовая тетрадь» Твардовского, отразили путь приобщения их авторов к миру жизни простого человека, русского солдата, процесс освоения того, что Твардовский назвал «тяжелым материалом» войны, формирования эпического мышления.

Обратим внимание на одну из записей во «Фронтовой тетради» Твардовского: «Подъехали к кострам, кому-то представились. Первый раз ел из чужого котелка чьей-то только что облизанной ложкой чудесный, горячий, жидкий суп с макаронами» [Твардовский 1976–1983. 4: 165]. Конечно же, в сознании читателя этот эпизод рождает прямую ассоциацию с толстовским Пьером на Бородинском поле в ситуации с солдатским «кавардачком». Возможно, у поэта родилась эта запись как документальное свидетельство, читателем же она вос-

¹ Как показала Е. А. Масолова, исследователи творчества Толстого практически единодушны в признании эпического характера Севастопольских рассказов. Она утверждает, что уже в «Севастополе в декабре» «доминирует приобщение к эпическому общенациональному началу» [Масолова: 135].

принимается как «припоминание» — одна из возможных форм взаимодействия в культурном контексте [Бочаров: 17–25]¹.

Положение офицера-наблюдателя у Толстого и «писателя»-наблюдателя у Твардовского сближают повествователей в Севастопольских рассказах и «Фронтальной тетради». Близки и их нравственные позиции: рядом с прямыми участниками событий, со страдающими людьми оба автора испытывают чувство стыда за самих себя. Толстовский повествователь признается, что рядом с ранеными в госпитале ему «становится почему-то совестно за самого себя» [Толстой 2: 91–92]. Твардовский понимал, что на войне он существует в значительно более привилегированных, комфортных условиях, чем рядовые бойцы: «Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение “писателя с двумя шпалами” — оно не заслужено... Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца» [Твардовский 1976–1983. 4: 155]. Мысль эта не раз будет повторена в его более поздних записях, а в «Родине и чужбине» выльется в признании: «Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, не отделимую от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет» [Твардовский 1976–1983. 4: 310].

Об эпической устремленности Толстого и Твардовского говорит уже тот факт, что оба они ощущают себя свидетелями и летописцами живой истории. Севастопольские рассказы Толстого и «Фронтальная тетрадь» Твардовского изображают исторические события в разных фазах их развития. Толстой показывает Севастополь в декабре 1854, мае

¹ Интересно, что и Толстой в этой картине был, видимо, не вполне оригинален, и в его сознании «сработало» «припоминание». Сцена эта почти совпадает с тем, что читаем во «Фрегате “Паллада”» И. А. Гончарова: «Обед — это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые “баками”, куда накладывается кушанье из одного общего, или “братского”, котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашницу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. “Хлеб да соль”, — сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильною приправой луку. <...> “А много ли вы едите?” — спросил я. “До отвала, ваше высокоблагородие”, — в пять голосов отвечали обедающие» [Гончаров 2: 22–23].

и августе 1855. Твардовский, не расходясь в этом смысле с историками, делит финскую кампанию на три периода: период неудач, до конца декабря 1939, «период перегруппировки, подготовки, отдыха до 11 февраля», и «третий, последний период, период... прорыва полосы дотов... жесточайших боев под Выборгом — до заключения мирного договора» [Твардовский 1976–1983. 4: 160]. Твардовский и его коллеги знали, что именно за «летописность» «ценили сами герои эти очерки... заносившие их имена как бы в некую летопись войны» [Твардовский 1976–1983. 4: 152]. По воспоминаниям писателя Е. Воробьева, работавшего вместе с поэтом в газете «Красноармейская правда», Твардовский видел летописцев в авторах-графоманах: «И все-таки будем снисходительны. Сидя в окопе, глядя в глаза смерти, человеку страшно: убьют и никто не вспомнит. И он наивно думает, что стихами оставит память о себе» [Воробьев: 172].

Эпическое повествование в произведениях Толстого и Твардовского предполагало исследовательский, аналитический взгляд на мир. Оба автора постигают войну, обратившись к ее будничной, «бытовой» стороне. Толстой пишет: «Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости; ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности...» [Толстой 2: 90]. В первом очерке толстовского цикла автор как будто берет за руку читателя, заменяя в повествовании «я» на «вы», и ведет его по городу, заставляя обращать внимание на почти несоединимые явления, предметы, мелкие события, из которых складывается общая картина безурядицы жизни в прифронтовом городе. Достоверность описания подтверждается постижением окружающего не только зрением, но и слухом, обонянием, осязанием: «Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — всё черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. <...> Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры,

мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами — причаливают и отчаливают от пристани» [Толстой 2: 87].

Записки Твардовского не предназначались для публикации и не предполагали обращение к читателю. Они должны были дать поэту материал для стихов и очерков в газете «На страже Родины», в которой он состоял в должности «писателя». Поэт редко прибегает к замене авторского «я» на «вы», однако его наблюдения явятся не менее конкретными и достоверными: «Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором, раздавленные сапогом, краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то ключья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровых ночных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымков землянок — до свежих, легкоморозных утр, почерневших дорог, чистых, точно умытых, елей и сосен...» [Твардовский 1976–1983. 4: 159].

Обобщение, умозаключение, вывод у Толстого и Твардовского рождаются в результате наблюдений и анализа: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...» [Толстой 2: 88]; «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» [Толстой 2: 101], — напишет Толстой. А вот Твардовский: «...И вдруг приходит мне простая такая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось» [Твардовский 1976–1983. 4: 158].

Приобщение к жизни воюющего народа для Толстого и Твардовского происходит через трагедию войны, без которой невозможен их будущий эпос. К преодолению трагедии войны каждый из них найдет *свой* путь. Повествователь у Толстого переживает ощущение ужаса и

душевного соучастия, созерцая страдания раненых и умирающих людей при посещении госпиталя и четвертого бастиона. Натуралистически точными картинками автор стремится поразить и воображение читателя, пробудить в нем душевную боль, сочувствие чужому страданию: «Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый, под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку... — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну... в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...» [Толстой 2: 93].

В первые же дни сражений, 6–7 декабря 1939 г., оказавшись свидетелем форсирования седьмой армией реки Тайпалеенйоки и порогов Кивиниеми, Твардовский напишет: «Из-за этой поездки я возвратился в тяжелом состоянии подавленности, какого-то недоумения. Это все было очень тяжело видеть в первый раз и справляться внутренне с этим самому» [Твардовский 1976–1983. 4: 177]. Самая трагическая глава будущей поэмы «Переправа» рождалась здесь, на линии Маннергейма.

Трагедия войны для поэта начинается с констатации невообразимой неразберихи и непригодности для человеческого существования условий жизни, которые он испытал на себе самом: «Заночевали среди леса. Костров нельзя было зажигать. Мороз был не меньше 30 градусов» [Твардовский 1976–1983. 4: 215]. Одна из самых трагических картин — страшное, натуралистическое описание «поляны смерти»: «Наконец, вышли на поляну, большую, открытую, и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. <...> Направо лежал перееханный танком, сплюснутый, размеченный на равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и финны. <...> Жутко было видеть, например, туловище без головы. Там, где должна быть голова, — что-то розоватое, припорошенное снегом. Особенно жутко и неприятно, физически невыносимо, что все, что раздроблено или

рассечено, выглядит совершенно как мясо, немного светлей, розоватей, но мясо и мясо» [Твардовский 1976–1983. 4: 166–167]. Для поэта, а он уверен, что и для любого человека, зрелище это непереносимо. Из этих наблюдений и родится одно из великих его стихотворений «Две строчки».

Тяжесть созерцания «поляны смерти» возрастает от понимания бессмысленности этих жертв и скорого их забвения: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. <...> Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и всё» [Твардовский 1976–1983. 4: 166–167]. И эти размышления поэта удивительно совпадают с тем, о чем думал Толстой. В очерке «Севастополь в мае» он напишет, что об убитых «едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю... <...> “Ишь, дух скверный” — вот все, что осталось между людьми от этого человека» [Толстой 2: 141].

В будущем эпосе Толстого не раз появятся натуралистические описания ранений и смертей. Достаточно вспомнить описание в «Войне и мире» перевязочного пункта, на который принесли раненого князя Андрея. В поэзии же и прозе Твардовского натурализм отсутствует. К «тяжелой теме» он всегда будет относиться с глубоким чувством такта. Не случайно описание «поляны смерти» поэт заключит словами: «Вглядываться не станешь». На своем опыте, на опыте общения с бойцами и младшими командирами он придет к убеждению, руководившему им в дальнейшей работе над «Тёркиным»: «А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы» [Твардовский 1976–1983. 4: 167]. Трагедия войны в его будущем эпосе будет жить в сердце автора и его героя-солдата, о ней он лишь намекнет в словах: «И видал такую муку, и такую знал печаль!» [Твардовский 1976–1983. 2: 301].

Эпос Толстого и Твардовского многогероен и при этом глубоко психологичен. В Севастопольских рассказах Толстой уже находит свой непревзойденный и неповторимый метод «диалектики души». Писатель проникает в сознание другого человека, показывая непростой внутренний мир Калугина, штабс-капитана Михайлова, ротмистра Праскухина,

князя Гальцина, братьев Козельцовых и других героев, принадлежащих к разным слоям русского дворянства. Их миропониманию близок и автор-повествователь, душа которого раскрывается через приобщение к жизни воюющего города, военного госпиталя, четвертого бастиона. Как и другие офицеры, повествователь не чужд тщеславия, страха, брезгливости, однако понимает мелочность и постыдность этих переживаний перед лицом совершающегося. Он усилиями воли заставляет самого себя и призывает читателя учиться мужеству, любви к Родине, истинному героизму у раненых в госпитале, у солдат, участников обороны на четвертом бастионе, вблизи смертельной опасности занятых необходимым «будничным делом» войны. Воюющий народ изображается Толстым как эпически целостный в нравственном отношении положительно охарактеризованный образ. Души отдельных представителей его писатель раскрывает в диалогах, об эпическом характере которых пишут исследователи.

Внутренний мир «Финской тетради» Твардовского эпически многоголос. Психологически наиболее развернуто в ней охарактеризован сам автор. Он не скрывает своего страха, недовольства условиями существования, амбициозных творческих побуждений, в одном из эпизодов говорит о том, как униженно просит у солдат хлеба... В отношении к изображаемым героям метод психологического анализа поэта — это краткие, точные, емкие характеристики, которые он дает по преимуществу офицерам. Твардовский показывает, что их нравственный облик значительно различается. Очевидна его симпатия к командирам, непосредственно участвующим «в деле». Некоторым, как, например, капитану Макарову, поэт дает достаточно развернутую характеристику: «испанец», награжденный орденом Красного Знамени, «очень хороший», душевно тонкий человек, приобщившийся к культуре, стеснявшийся своей картавости и маленького роста. Ради людей из газеты он, очень усталый, не вполне здоровый на вид, спешился, отдал свою лошадь бойцу и долго «шел с нами, может быть, из вежливости, чтоб не ехать рядом одному». Он, батальонный командир, внешне мало отличался от своих бойцов: «был в подшлемнике и каске», ночуя у костра, «пропалил на спине шинель» [Твардовский 1976–1983. 4: 166]. В том же ряду нравственных и располагающих к себе автора героев полковник Бакаев, полковник Корунов, интеллигентные молодые инструкторы политотдела Черныш, Марон, Винник и др.

Однако рядом с ними командир дивизии Лазаренко, который стал «очень ласков» с корреспондентами только после того, как они, по ошибке, приписали ему одному взятие Койвисто; «начподив», «который разыгрывал из себя полководца»; комиссар, старавшийся «придать себе весу»; «замначполитотдела... вообще большой дурак и щеголь» [Твардовский 1976–1983. 4: 210]. Во время уже захлебнувшегося наступления, когда тысячи и тысячи бойцов с одними винтовками лежали и гибли на снегу и морозе перед неприступными финскими дотами, «командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару: “Вперед. Немедленно вперед...”» [Твардовский 1976–1983. 4: 175]. Равнодушие к людям, зазнайство, самолюбование, желание выдвинуться за счет других, трусость, непрофессионализм дают право поэту признать их и им подобных виновниками гибели сотен тысяч людей, хотя об этом прямо сказать он не может даже в дневниковых записях.

Проникнуть во внутренний мир рядового бойца, младшего командира, Твардовскому помогают выписки из дневника младшего политрука Иосифа Егоровича Смирнова. Этот «грубокостный», «малограмотный» юноша с «форсистым почерком» привлекает поэта глубиной открытостью души русского человека, отвагой и безрассудностью, желанием отличиться и скромностью, полудетской наивностью в готовности к любому испытанию, ощущением счастья «от сознания, что и ему довелось быть там, где все так всерьез» [Твардовский 1976–1983. 4: 172]. Этот мальчишка с «наивным» лицом понимает: война не место для похвалы, для самолюбования. Здесь главное — забота не себе, а о том, кто воюет рядом. Те же качества видит Твардовский и в рассказчиках о своих и чужих подвигах — танкистах Д. Диденко, В. С. Архипове, летчике М. Трусове и др. Психологизм этих многоголосых свидетельств близок психологизму эпических жанров фольклора, когда душа героя угадывается за его поступком. Рассказы эти родственны некоторым из «романтических историй», например, о подвиге связиста Виктора Зеленцова, следы которого «потерялись», а к его подвигу «стали... относиться, как к легенде» [Твардовский 1976–1983. 4: 178]. Немало подобного рода героических историй на фронте приобретали качества фольклорного эпического жанра, закреплялись в сознании народа.

Такого же типа скрытый, «фольклорный» психологизм появится и в эпосе Твардовского периода Великой Отечественной войны. Поэт руководствуется сознанием отсутствия у него права и возможности высказать все то, что лежит на душе его героя-бойца: «Что он думал, не гадаю, Что он нес в душе своей...» [Твардовский 1976–1983. 4: 310]. Трагедия войны в будущем эпосе поэта будет жить в сердце автора и его героя, мысли о ней они оставят «для себя». А во «Фронтовой тетради» воскликнет: «Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил!» [Твардовский 1976–1983. 4: 204]. В этих словах уже звучит скорбная интонация последней главы «Теркина»: «Сколько их на свете нету, что прочли тебя, поэт...» [Твардовский 1976–1983. 4: 329].

Об особенностях построения эпического повествования Толстого Л. Я. Гинзбург пишет: «Подлинным откровением толстовского гения явились изображения некоторых общих психических состояний, перерастающих единичные сознания и связующих их в единство совместно переживаемой жизни» [Гинзбург: 318]. Вот это-то «единство совместно переживаемой жизни» и стало способом показа братского человеческого единения в условиях войны в очерках Толстого. О «демократической, народной общности» в первом очерке цикла пишет Ю. В. Лебедев: «В художественном мире толстовской фразы непрерывно осуществляется “обобщение” и “анализ”, расчленение и связывание. В итоге группа матросов воспринимается не как абстрактная войсковая единица... но как живописный, пластический образ человеческого коллектива, одухотворенный множеством индивидуальных жизней» [Лебедев 1976: 73]. Представление о братском единении участников севастопольской обороны выскажется в описаниях жизни города, госпиталя, четвертого бастиона, в которые иногда вкрапляются «эпические диалоги». Перед теми, кто принадлежит этому единению, склоняет голову автор. При виде в госпитале «старого, исхудалого солдата», Толстой говорит: «Вы начинаете понимать защитников Севастополя... Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, — и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством» [Толстой 2: 91–92]. Слова эти о каждом, честно исполняющем долг перед Отечеством.

Понимание духовного единения простых солдат, участников финской кампании, выразилось в первых же записях в тетради Твардовского: «И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать. Так тогда думалось. И, помню, впервые испытывал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их как родных, дорогих мне лично людей [Твардовский 1976–1983. 4: 155].

Сердечное единение людей на войне вызывает удивление, душевное умиление Твардовского: «Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в саях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака — пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:

— Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук — теплые. Возьми, слышь...

Ещё, помню, шел довольно быстро танк, и на нем лежал один легко раненный боец, обнимая сверху двоих, по-видимому, тяжелых, придерживая их» [Твардовский 1976–1983. 4: 176]. В этих, казалось бы, незначительных эпизодах раскрывается вся глубина простой и открытой души русского солдата, «нашего доброго парня», великая мера его человечности. В ужасающих условиях лютой, губительной зимы, при ежеминутной угрозе гибели рождается воспетое еще Гоголем товарищество, боевое солдатское братство. Уже эти записи говорят о душевном тяготении поэта к солдатскому братству, а в «Книге про бойца» это тяготение перерастет в ощущение счастливой сопричастности солдатской дружбе, которой нет «святей и чище». В «Василии Тёркине» очерковые записи приобретут поэтическую форму. В главе «Тёркин ранен»:

Шла машина в снежной дымке,
Ехал Тёркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец — башенный стрелок.

Укрывал своей одежей,
Грел дыханьем. Не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда... [Твардовский 1976–1983. 2: 192].

И в главе «Смерть и воин»:

Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко тёплую, с руки... [Твардовский 1976–1983. 2: 278].

Великая сила братского единения на глазах у смерти породит удивительные признания бывших фронтовиков. 9 мая 1947 г. А. И. Блинов напишет поэту: «Война для меня была не веселая игра: шесть тяжелых, восемь легких ран», но «как и для многих наших людей, время, проведенное на фронте, принадлежит — Вам это можно сказать, Вы это правильно поймете — к лучшим дням моей жизни. <...> Не хочу говорить о том, чем для нас было фронтовое товарищество, фронтовая жизнь — Вы это сказали лучше всех нас. <...> Связанность смертью искусственно не вызовешь» [Твардовский 1976: 345]. Образ «человека-народа» (определение А. М. Абрамова [Абрамов: 5]), ставший жанровоопределяющим в эпическом мире «Василия Тёркина», вырос из образа солдатского братства, родился в страшном мороке финской кампании.

Эпическое мышление Толстого и Твардовского высказалось и в их приобщенности к народно-поэтическому мышлению. Образ врага в очерках Толстого уже во многом мифологизирован, это «он», который, не переставая, бьет, теснит, наступает, угрожает, губит. Но во втором очерке цикла Толстой показывает врагов и как обычных людей, с которыми возможно общение и даже сочувствие им: в виду трупов молоденький русский офицер вместе с французами рассматривает сигарочницу, а бойкий солдат в розовой рубашке раскуривает трубку и весело смеется. От этих эпизодов прямой путь к мыслям о величии русской души, к главам о заключительном этапе Отечественной войны в четвертом томе «Войны и мира», к словам Кутузова о французах: «Тоже и они люди» [Толстой 7: 200].

В отличие от эпоса и лирики Твардовского периода Великой Отечественной войны и последующих лет, в «Финской тетради» отсутствует

эпическое противопоставление Родины и чужбины, как отсутствует и мифологизированный образ врага. В финнах поэт видит прежде всего людей, с состраданием относится к их гибели, показывает, как наши солдаты кормят их и обогревают у костра. Не на финнов возлагает он вину за происходящее. Вид разрушенного финского дома не радует поэта, он несет в душе чувство вины за разорительное вторжение в налаженную чужую жизнь. Поэта привлекает культура жилья финнов, «теплого и уютного», он с уважением говорит об их «традиционной строгой домовитости» [Твардовский 1976–1983. 4: 179]. Эти настроения совсем не похожи на то, что выскажется в очерке «Гори, Германия!», появившемся в те дни, когда наша армия вступила на немецкую землю: «Гори, Германия! Гори и корчись в огне, в таком самом, каким ты не смогла, но хотела сжечь все живое, честное и радостное на земле. Гори, так тебе и надо! Я не хочу и не стану прощать тебе, что ты выжгла и вытоптала целые края моей мирной, свободной Родины. Не хочу и не стану прощать, что ты сгубила столько моих близких и далеких, не знакомых, но дорогих людей моего великого братства...<...> Гори, проклятая!» [Твардовский 1945: 3]. В своем эпосе поэт сумеет отойти от «частных», конкретных наблюдений, образ немца, «немого», станет образом врага, а его осмысление близким осмыслению в русской народной культуре.

Исследователи не раз указывали на эпический характер образов в Севастопольских рассказах: «...В первом очерке эпическое начало превращает всех защитников города в высоких эпических героев...» [Масолова: 133], — пишет Е. А. Масолова. Эпическими у Толстого становятся и образы из мира природы. И море, и солнце и сам город Севастополь предвосхищают появление неба и солнца Аустерлица, образа осажденной Москвы.

В дневниковых записках Твардовского тоже есть место описанию величественной северной природы, которая видится ему через русский фольклор: «Что-то древнее, могучее, северное, печальное» [Твардовский 1976–1983. 4: 179]. Поэтом описаны «красноогненные» [Твардовский 1976–1983. 4: 180] закаты, в которых «краски пожаров и крови», напоминают блоковский цикл «На поле Куликовом». Поэт обращается к давно известным народной культуре и им самим освоенным образам матери и сына, братьев, дома и дороги, холода и снега, весны, тишины. Однако в записках и лирике этого периода происходит намеренный

отказ от мифологизированного образа, разрушение его. Теперь поэт стремится наполнить его своим личным, конкретным, «сегодняшним» чувством и содержанием. А содержание это — война. Потому холод и снег здесь вполне реальные, а не только символы смерти. Тишина рядом с разрывами снарядов. Дороги страшно разбитые, заминированные, мощные человеческими трупами. О весне поэт скажет: «Никакой весны. Война, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой» [Твардовский 1976–1983. 4: 158]. Те же его убеждения выскажутся и в стихотворениях этого периода «Зима под небом необжитым...» и «Не дым домашний над проселком...».

В финале толстовского цикла, в рассказе о смерти братьев Козельцовых, появляется щемящая душу интонация. Она помогает передать авторское переживание трагедии Севастополя, ощущение катастрофы от того, что эта война унесла жизни лучших и лучших из воевавших за город. Безрадостны и последние записи в тетради Твардовского. Казалось бы, финская компания победоносно завершена, но поэт не разделяет официального торжества по этому поводу. Открывшаяся правда войны оставляет след в душе обоих писателей. О себе Твардовский скажет: «Сознание постарело» [Твардовский 1976–1983. 4: 158]. В душе поэта живет обида за тех, кто погиб, кто прошел через ад «Финской кампании»: «Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это общеизвестно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут!» [Твардовский 1976–1983. 4: 159]. И, несомненно, прав В. М. Акаткин: именно здесь, в снегах Финляндии, на этой «незнаменитой» войне рождается в творчестве Твардовского великая тема памяти, которой он останется верен до конца своих дней [Акаткин: 31].

Великие эпические творения в творчестве русских классиков — Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского — зарождались в «малых», преимущественно очерковых жанрах. Документальное начало в них помогало русскому художнику постичь и передать способами художественного повествования главную особенность русского эпоса — правду непосредственного живого свидетельства. Доказательство тому — независимо друг от друга возникшие произведения разных эпох — Севастопольские рассказы Толстого и

«С Карельского перешейка (Из фронтальной тетради)» Твардовского. Они отразили духовное становление писателей, а в их творчестве подготовили рождение великого эпоса. В этих произведениях отразилось формирование эпического мышления авторов, толстовский цикл содержит уже найденные способы его воплощения, а тетрадь Твардовского — поиски и находки на пути к «Книге про бойца», задуманной и начатой в снегах Финляндии.

Список литературы

Источники

- Асеев Н.* О чувстве нового // Литература и искусство. 1943. 3 апреля. С. 2.
- Воробьев Е.* «В тяжкий час земли родной»: Из воспоминаний об А. Т. Твардовском // Звезда. 1974. № 10. С. 163–174.
- Гончаров И.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 1997–.
- Ермилов В.* Русский воин Василий Теркин // Литература и искусство. 1942. 31 октября. С. 2.
- Кондратович А.* Три рукописи. Из воспоминаний о Твардовском // Подъем. 1973. № 6. С. 139–147.
- Твардовский А. Т.* Василий Теркин: (Книга про бойца). Письма читателей «Василия Теркина». Как был написан «Василий Теркин». М.: Современник, 1976. 694 с.
- Твардовский А. Т.* Гори, Германия! // Красноармейская правда. 1945. 25 января. С. 3.
- Твардовский А. Т.* О литературе. М.: Современник, 1973. 445 с.
- Твардовский А. Т.* Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1976–1983.
- Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 22 т. М.: Худож. лит., 1978–1985.

Исследования

- Абрамов А. М.* Эпопея о человеке-народе // «Василий Теркин» А. Т. Твардовского — народная эпопея. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1981. С. 5–53.
- Акаткин В. М.* Финские записи А. Т. Твардовского в диалоге времени (К проблеме гуманизма) // «Найди себя в себе самом». Материалы Пятых Твардовских чтений. Смоленск: Маджента, 2010. С. 17–40.
- Бакланов Г.* Остановись, мгновение // Воспоминания о Твардовском: Сборник. М.: Сов. писатель, 1978. С. 413–435.
- Бочаров С. Г.* О генетической памяти литературы // *Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia*: К 80-летию П. А. Гринцера. М.: Наука, 2009. С. 17–25.
- Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. 448 с.
- Ермолаева Н. Л.* Л. Н. Толстой и А. Т. Твардовский // Литература в школе. 2010. № 12. С. 4–10.
- Ильин В. В.* «Скольким душам был я нужен...» А. Т. Твардовский: очерки психологии творчества. Смоленск: Маджента, 2009. С. 37–45.
- Кондратович А. И.* Александр Твардовский. Поэзия и личность. М.: Худож. лит., 1978. 350 с.
- Лебедев Ю. В.* «Записки охотника» И. С. Тургенева. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1977. 80 с.
- Лебедев Ю. В.* Л. Н. Толстой на пути к «Войне и миру» (Севастополь и «Севастопольские рассказы») // Русская литература. 1976. № 4. С. 61–82.
- Лебедев Ю. В.* У истоков эпоса. (Очерковые циклы в русской литературе 1840–1860-х годов). Ярославль: Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского, 1975. 162 с.

Масолова Е. А. Становление эпического в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2016. Т. 158. Кн. 1. С. 133–145.

Лысов А. Г. «И идёт, как надо, жизнь...»: о философе жизненной жизни у Л. Толстого в творчестве А. Твардовского («Василий Тёркин») // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2008. № 4. С. 13–19.

Македнов А. Творческий путь Твардовского. Дома и дороги. М.: Худож. лит., 1981. 367 с.

Павловский А. И. Советская философская поэзия: Очерки. Л.: Наука, 1984. 180 с.

Туманова С. Р. Диалог жизни и смерти в творческом сознании Л. Н. Толстого и А. Т. Твардовского // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2010. № 2. С. 127–137.

References

Abramov, A. M. “Epepeia o cheloveke-narode” [“Epopée about a Person-Folk”]. “*Vasilii Terkin A. T. Tvardovskogo*” — *narodnaia epepeia* [“*Vasily Terkin*” by A. T. Tvardovsky as a Folk Epopée]. Voronezh, Voronezh State University Publ., 1981, pp. 5–53. (In Russ.)

Akatkin, V. M. “Finskie zapisi A. T. Tvardovskogo v dialoge vremeni (K probleme gumanizma)” [“Finnish Sketches by A. T. Tvardovsky in the Dialogue of Time (On the Problem of Humanism)”]. “*Naidi sebja v sebe samom.*” *Materialy Piatykh Tvardovskikh chtenii* [“*Find Yourself in your own Personality.*” *Materials of the fifth Tvardovsky Conference*]. Smolensk, Madzhenta Publ., 2010, pp. 17–40. (In Russ.)

Baklanov, G. “Ostanovis’ mgnovenie” [“Stop, the Moment!”]. *Vospominaniia o Tvardovskom: Sbornik* [Memoires about Tvardovsky: a Collection]. Moscow, Sovetskii pisatel’ Publ., 1978, pp. 413–435. (In Russ.)

Bocharov, S. G. “O geneticheskoi pamiati literatury” [“On the Genetic Memory of the Literature”]. *Donum Paulum. Studia Poetika et Orientalia: K 80-letiiu P.A. Grintsera* [Donum Paulum. Studia Poetika et Orientalia: Collection of Works to the 80th Anniversary of P. A. Gritser]. Moscow, Nauka Publ., 2009, pp. 17–25. (In Russ.)

Ginzburg, L. *O psikhologicheskoi proze* [On the Psychological Prose]. Leningrad, Sovetskii pisatel’ Publ., 1971. 448 p. (In Russ.)

Ermolaeva, N. L. “L. N. Tolstoi i A. T. Tvardovskii” [“L. N. Tolstoi and A. T. Tvardovsky”]. *Literatura v shkole*, no. 12, 2010, pp. 4–10. (In Russ.)

Il’in, V. V. “Skol’kim dusham byl ia nuzhen...” [“I was needed to so Many Souls...”]. *A. T. Tvardovskii: ocherki psikhologii tvorchestva* [A. T. Tvardovsky: Sketches of the Psychology of Creative Work]. Smolensk, Madzhenta Publ., 2009, pp. 37–45. (In Russ.)

Kondratovich, A. I. *Aleksandr Tvardovskii. Poeziia i lichnost’* [Alexander Tvardovsky. Poetry and Personality]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1978. 350 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “*Zapiski okhotnika*” I. S. Turgeneva. *Posobie dlia uchitelia* [“*The Sportsman’s Sketches*” by I. S. Turgenev. *The Teacher’s Book*]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1977. 80 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “L. N. Tolstoi na puti k ‘Voine i miru’ (Sevastopol’ i ‘Sevastopol’skie rasskazy’)” [“L. N. Tolstoi on the Way to ‘War and Peace’ (Sevastopol and ‘Sevastopol Sketches’)”]. *Russkaia literatura*, no. 4, 1976, pp. 61–82. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. *U istokov eposa. (Ocherkovye tsikly v russkoi literature 1840–1860-kh godov)* [On the Origins of Epic (Sketch Cycles in the Russian Literature of 1840–1860)]. Iaroslavl’, Iaroslavl’ State Pedagogical Institute named after K. D. Ushinsky Publ., 1975. 162 p. (In Russ.)

Masolova, E. A. “Stanovlenie epicheskogo v ‘Sevastopol’skikh rasskazakh’ L. N. Tolstogo” [“The Formation of Epic in ‘Sevastopol Sketches’ by L. N. Tolstoi”]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriiia “Gumanitarnye nauki”* [Proceedings of Kazan University. “Humanities Series”], vol. 158, no. 1, 2016, pp. 133–145. (In Russ.)

Lysov, A. G. “‘I idet, kak nado, zhizn’...’: o filosofeme zhiznennoi zhizni u L. Tolstogo v tvorchestve A. Tvardovskogo (‘Vasilii Terkin’)” [“‘And the Life Goes as it Should...’: on the Philosopheme of the Life’s Life of L. N. Tolstoi in the Works by A. T. Tvardovsky (‘Vasily Terkin’)”]. *Vestnik Ul’ianovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* [Bulletin of the Ul’ianovsk State Technical University], no. 4, 2008, pp. 13–19. (In Russ.)

Makedonov, A. *Tvorcheskii put’ Tvardovskogo. Doma i dorogi* [Creative Way of Tvardovsky. Homes and Roads]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1981. 367 p. (In Russ.)

Pavlovskii, A. I. *Sovetskaia filosofskaia poeziiia: Ocherki* [Soviet Philosophic Poetry: the Sketches]. Leningrad, Nauka Publ., 1984. 180 p. (In Russ.)

Tumanova, S. R. “Dialog zhizni i smerti v tvorcheskom soznanii L. N. Tolstogo i A. T. Tvardovskogo” [“Dialogue of Life and Death in Creative Consciousness of L. N. Tolstoi and A. T. Tvardovsky”]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriiia: Filologiiia. Zhurnalistika*, no. 2, 2010, pp. 127–137. (In Russ.)